

Не здесь ли один из источников всё растущего хулиганства, которое — в существе своём — та же карамазовщина?

Пора подумать, как отразится это озеро яда на здоровье будущих поколений, не усилит ли дикое пьянство — тёмную жестокость нашей жизни, садизм деяний и слов, нашу дряблость, наше печальное невнимание к жизни мира, к судьбе своей страны и друг ко другу?

И вот, в интересах духовного оздоровления, необходимо — как мне кажется — определить социально-воспитательное значение тех идей, которые Художественный театр предполагает показать нам в образах. Нужно ли это увечное представление? Я уверен, что — нет.

Это «представление» — затея сомнительная эстетически и безусловно вредная социально.

Рабски следуя за Художественным театром, театр Незлобина инсценирует «Идиота», тут тоже есть чем полюбоваться, например: агонией туберкулёзного Ипполита, эпилепсией князя Мышкина, жестокостью Рогожина, истерией Настасьи Филипповны и прочими поучительными картинами всяческих болезней тела и духа. Не надо забывать, что на сцене театра не так ясны мысли автора, как жесты, и что роман Достоевского, оголённый купюрами, примет характер сплошной нервной судороги.

Я предлагаю всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни, — протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров.

* * *

Эта заметка вызвала протест со стороны довольно значительной группы литераторов; протест был напечатан в вечернем издании «Биржевых ведомостей» и сводился к обвинению меня в том, что я пытаюсь установить цензуру общества над свободой художника. Следующая моя заметка является ответом на протест литераторов.

Ещё о «Карамазовщине»

Мой призыв к протесту против изображения «Бесов» и вообще романов Достоевского на сцене вызвал единодушный отклик со стороны господ литераторов, более или менее резко выразив-

ших порицание мне. Один из сторонников Достоевского, господин Горнфельд, указал даже, что:

«Противники Горького перегнули палку в противоположную сторону: появились уже гаденькие слова о какой-то творимой им цензуре».

Слова действительно лишние и, на мой взгляд, весьма постыдные для тех, кто их придумал.

Но суть дела не в отношении ко мне лично того или другого лица, — это никому не интересно; суть в том, что все высказавшиеся против меня отрицают за обществом его право протестовать против тенденций и явлений, враждебных росту человечности в обществе.

Мнения, высказанные литераторами, слагаются предо мною так:

— Хотя Достоевский и реакционер; хотя он является одним из основоположников «зоологического национализма», который ныне душит нас; хотя он — хулитель Грановского, Белинского и враг вообще «Запада», трудами и духом которого мы живём по сей день; хотя он — ярый шовинист, антисемит, проповедник терпения и покорности, но, при всём этом, его художественный талант так велик, что покрывает все его прегрешения против справедливости, выработанной лучшими вождями человечества с таким мучительным трудом. И посему общество лишается права протеста против тенденций Достоевского да и вообще против всякого художника, какова бы ни была его проповедь.

Однако, когда в 1907 году театр Суворина поставил на сцене «Бесов», общество, в лице прогрессивной печати, протестовало против этой инсценировки, справедливо определив её как приём политической борьбы.

Почему же то, что во грех Суворину, — Немировичу-Данченко во спасение? Почему общество может протестовать против ничтожной пьески «Контрабандисты», а против сильного и злого романа «Бесы» не может?

Почему ваш, господа, коллективный протест против моего мнения — не цензура, а мой призыв к протесту — призыв к цензуре?

Прошу понять, что я не себя защищаю, — я просто указываю, что общество имеет право протеста против проповеди того или иного художника, — имеет это право и пользовалось им.

Ваше отношение к вопросу мне неясно.

* * *

Возражения, брошенные мне, брошены под заголовком: «Горький против Достоевского», причём один литератор приписал мне намерения крайне свирепые. Он говорит, что если бы я был министром, то сжёг бы Достоевского. Министром я не надеюсь быть, но всё-таки считаю долгом моим заранее успокоить взволнованного писателя: если и буду, то не сожгу. Не сожгу, ибо русскую литературу люблю и ценю не менее почтенного литератора. Он очень громогласно объявил городу и миру о своём безграничном свободолобии, но каждый раз, когда я слышу такие объявления, мне хочется спросить объявителя:

— А вы от чего желаете освободиться? Не от всех ли обязанностей человека и гражданина?

Ибо русское понимание «последней свободы» почти всегда скрывает за собою стремление от деяния к созерцанию, от культуры — к дикости и варварству.

Горький не против Достоевского, а против того, чтобы романы Достоевского ставились на сцене.

Я убеждён, что одно дело — читать книги Достоевского, другое — видеть образы его на сцене да ещё в таком талантливом исполнении, как это умеют показать артисты Художественного театра.

В книгах для внимательного читателя ясны и реакционные тенденции Достоевского и все его противоречия, все те страшные натяжки, которых никому другому не простили бы.

Если тринадцатилетний мальчик Красавин³ говорит, что «глубоко постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от радости», читатель вправе усомниться в бытии такого мальчика. Если мальчик заявляет: «Я их бью, а они меня обожают» и характеризует товарища: «Предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня, как бога», — читатель видит, что это — не мальчик, а Тамерлан или, по меньшей мере, околоточный надзиратель.

Когда четырнадцатилетняя девочка говорит: «я хочу, чтоб меня кто-нибудь истерзал», «хочу зажечь дом», «хочу себя разрушить», «убью кого-нибудь», — читатель видит, что это правдоподобно, хотя и болезненно.

Но когда девочка эта рассказывает, как «жид четырёхлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене гвоздями», и добавляет: «Это хорошо.

Я иногда думаю, что сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть», — здесь читатель видит, что девочку оклеветали: она не говорила, не могла сказать такой отвратительной гнусности. Тут, на горе наше, есть правда, но это — правда Салтычихи, Аракчеева, тюремных смотрителей, а не правда четырнадцатилетней девочки.

И когда на вопрос этой оклеветанной девочки: «Правда ли, что жида на пасху детей крадут и режут?» — благочестивый Алёша Карамазов отвечает: «Не знаю», — читатель понимает, что Алёша не мог так ответить; Алёша не может «не знать»; он — таков, каким написан, — просто не верит в эту позорную легенду, органически не может верить в неё, хотя и Карамазов.

Если же читателю будет доказано, что Алёша в юности действительно «не знал», пьют ли евреи кровь христиан, тогда читатель скажет, что Алёша — вовсе не «скромный герой», как его рекомендовал автор, а весьма заметная величина, жив до сего дня и подвизается на поприще цинизма под псевдонимом: В. Розанов.

Всматриваясь в словоблудие Ивана Карамазова, читатель видит, что это — Обломов, принявший нигилизм ради удобств плоти и по лени, и что его «неприятие мира» — просто словесный бунт лентяя, а его утверждение, что человек — «дикое и злое животное», — дрянные слова злого человека.

Читатель видит также, что Иваново трактирное рассуждение о «ребёночке» — величайшая ложь и противное лицемерие, тотчас же обнажённое самим нигилистом в словах:

«Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних».

Ближний — это и есть ребёнок, человек, который завтра унаследует после нас всё доброе и злое, совершённое нами на земле, а если Иван не понимает, как можно любить его, — значит, всё, что он говорит о жалости к «ребёночку», — сентиментальная ложь.

«Весь мир познания не стоит слёзок ребёночка», — говорит нигилист, но читатель знает, что это — тоже ложь. Познание есть деяние, направленное к уничтожению горьких слёз и мучений человека, стремление к победе над страшным горем русской земли. Вообще, читая книги Достоевского, читатель может корректировать мысли его героев, отчего они значительно выигрывают в красоте, глубине и в человечности.

Когда же человеку показывают образы Достоевского со сцены, да ещё в исключительно талантливом исполнении, — игра артистов, усиливая талант Достоевского, придаёт его образам особенную значительность и большую законченность.

Сцена переносит зрителя из области мысли, свободно допускающей спор, в область внушения, гипноза, в тёмную область эмоций и чувств, да ещё особенных, «карамазовских», злорадно подчёркнутых и сгущённых, — на сцене зритель видит человека, созданного Достоевским по образу и подобию «дикого и злого животного».

Но человек — не таков, я знаю.

И вот, находя, что вся деятельность Достоевского-художника является гениальным обобщением отрицательных признаков и свойств национального русского характера, я уверен, что образы его на сцене театра, подчёркнутые игрою артистов, приобретают убедительность и завершённость большую, чем на страницах книг.

Я считаю это социально вредным, ибо человек — не «дикое и злое животное» и он гораздо проще, милее, чем его выдумывают российские мудрецы.

А протест общества против того или иного литератора одинаково полезен как для общества, которому пора сознать свои силы и своё право борьбы против всего, что ему враждебно, так и для личности.

Тот, кто достаточно силён верой в себя и в жизненность своих идей, перешагнёт через все сопротивления, и общество душу его не умертвит.

* * *

Один из свободолюбивых литераторов, высмеивая мое мнение, между прочим, восклицает:

«Нет, вредной литературы не существует! Чем гениальнее произведение, тем больше его благотворное влияние, даже если гений и заблуждается».

Гениальные книги крайне редки, как это всем известно. Мы живём во дни великой бедности духовной, во дни печального разброда сил; наша текущая литература, сильно отражая процесс дробления русской души, не позволяет надеяться на то, что художник-гений уже скоро явится среди нас. А «вредная» литература, несомненно, существует, — автор приведённых выше строк

сам неоднократно указывал на неё. Несомненно, что он не признаёт полезной повесть, в которой проповедуется, например, педерастия или сладостно описываются иные извращения полового чувства. Наверное, он не признаёт полезной книгу, в которой «художественно» восхвалялось бы предательство или «гениально» защищалась необходимость поголовного истребления турок.

Киплинг очень талантлив, но индусы не могут не признать вредной его проповедь империализма, и весьма многие англичане согласны в этом с ними.

«Вредной» литературы очень много, и у неё есть своя заслуга: как прыщ указывает, что кожа грязна, так и эта литература свидетельствует о нечистоплотности души.

Что заставило меня говорить на эту тему? Вот что: я знаю хрупкость русского характера, знаю жалостную шаткость русской души и склонность её, замученной, усталой и отчаявшейся, ко всякого рода заразам. Прочитайте внимательно анкету «Вестника воспитания»⁴, прислушайтесь к голосам современной молодёжи, — нехорошо на Руси, господа!

Не Ставрогиных надобно ей показывать теперь, а что-то другое. Необходима проповедь бодрости, необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание, необходим возврат к источнику энергии — к демократии, к народу, к общественности и науке.

Довольно уже самооплеваний, заменяющих у нас самокритику; довольно взаимных заушений, бестолкового анархизма и всяких судорог.

И Достоевский велик, и Толстой гениален, и все вы, господа, если вам угодно, талантливы, умны, но Русь и народ её — значительнее, дороже Толстого, Достоевского и даже Пушкина, не говоря обо всех нас.

Наша замученная страна переживает время глубоко трагическое, и хотя снова наблюдается «подъём настроения», но этот подъём требует организующих идей и сил больше и более мощных, чем требовал назад тому восемь лет.

Считаю нужным указать, что в реакционной прессе постановка «Бесов» Художественным театром вызвала полное удовлетворение, в доказательство этого привожу выдержки из статьи господина Независимого, напечатанной в 19 № журнала князя Мещерского «Гражданин» (№ 19, 1914 год):

Современная действительность и Ф. М. Достоевский

Все мы можем искренно поблагодарить Московский Художественный театр за постановку на сцене картин из романа «Бесы» Достоевского.

Заслуга Художественного театра: он воскресил в памяти «Бесы», он указал на современность этого романа, он заинтересовал всех этой современностью. Меня лично этот спектакль заставил достать с полки книжного шкапа Достоевского и снова перечесть его. Чтоб проверить своё собственное впечатление, ради простой любознательности, я зашёл в несколько библиотек — городских и частных — с просьбой дать мне роман «Бесы», и везде получал один и тот же ответ: книга взята.

Мне кажется, это одно из немаловажных доказательств, насколько идея постановки сцен из романа «Бесы» воскресила интерес публики к нашему великому писателю.

Впечатление от спектакля тем сильнее, что все действующие лица романа «Бесы» вот вчера, сегодня проходили и проходят перед нами и сам сюжет буквально выхвачен из нашей текущей жизни.

Все сцены — сплошное развенчивание деятелей революции: каждый монолог говорит о тех низменных чувствах, которыми руководствуются эти деятели, — всё время вы не можете отличить, где кончается революционная партийная работа и где начинается грязная провокация этих грязных дельцов. Как всё это современно! И как всё это поучительно! Недаром Максим Горький так энергично кричал против этой постановки Художественного театра, и, вероятно, руководителям театра не мало пришлось перенести затруднений, прежде чем поставить этот спектакль. Пусть наша молодёжь, которая жаждет подвигов, которая, будучи очень отзывчивой на горе и несчастье ближних, бросается в революционные кружки и, веря красивым песням о свободе, равенстве и братстве руководителей этих кружков, отдаёт работе в них все свои силы в надежде изменить существующий строй и тем якобы обеспечить для всех счастливую и справедливую жизнь, — пусть эта молодёжь, которая видит в своих руководителях богов и на них молится, пусть она пойдет на представление

Московского Художественного театра посмотреть «Бесы» и перечтёт потом дома это бессмертное произведение русского гения.

Вот он Азеф — Пётр Верховенский, вот эти все нищие духом и умом Кирилловы и Шатовы, вот они, безвольные, бесхарактерные, неумные государственные деятели типа фон-Лембке! Вот оно постоянное запугивание каким-то «центральным комитетом», находящимся где-то за границей, но которого никто не знает и который состоял, вероятно, из тех же грязных, порочных людей...

Разве всё это не видим мы в наше время? Разве всё это не портреты наших дней?

Как всё это назидательно, и как жаль, что у нашей чуткой молодёжи роман «Бесы» Достоевского не является настольной книгой. Если всем нам полезно посмотреть этот спектакль, то нашей молодёжи положительно необходимо видеть «Бесы» в Михайловском театре, и я позволяю себе кончить эти несколько строк о своём впечатлении выражением сожаления, что по своим ценам этот театр почти совсем недоступен широкой русской публике.

Независимый.

1913

